



Александр ТИТОВ

Липецкая область

Новые времена

рассказ

— Какого черта расселся? — шумит бабка Махора на старшего внука Гришку. Это здоровенный, ленивый с виду двадцатидвухлетний малый работает шофером в райпо. Пришел с работы веселый, маленько выпивши, или, как он сам любит говорить, «под балдой». Мало того что выпил на дармовщинку, он еще и «скалымил»: подвез сегодня какой-то тетке зерновые отходы за пятьдесят рублей и, придя домой, без всякого интереса смотрит телевизор, дожидаясь восьми часов вечера, когда можно будет идти в клуб.

— Уставятся на ящик свой дурацкий и смотрят, как тятюшки бегают. И чего интересного?

— Это хоккей, ба, чемпионат мира! — почесывает Гришка стриженный по моде затылок.

— Черт-те чего, хоккей какой-то выдумали. Это все от безделья. Ишь, бегают, словно мыши. Туды-сюды жгают, туды-сюды. Эк разобрало — драться стали...

«Ох, и глупые старые», — думает Гришка.

— Ты бы лучше пол притерла. Глянь, какой весь замызганный, сальный. Ноги в носках, а все равно к половицам липнут. Противно!

Когда бабка не в духе, достается и среднему внуку Валерке, и младшей внучке Кате. Младшая — любимица бабки, но в гневе старуха не шадит и ее. Вот Катя, делая что-то на кухне, уронила нечаянно стакан, и, хотя стакан не разбился, бабка уже спешит туда, шаркает. Сухой дробной рукой с навесу бьет Катю. Спина девочки ухает, гудит. Не успев вырваться из цепких бабкиных рук, растерянная Катя поднимает рев.

— Ну и семейка! — Гришка встает с дивана, ощупывая в кармане заработанный полтинник. — Сумасшедший дом, да и только. Знал бы кто, как мне надоело жить с этими ослами! Двадцать первый век на дворе, а у нас тут темное феодальное царство...

Гришка собирается жениться на приезжей девушке Тоне, она работает здесь продавцом, а приводить Тоню в этот дом, где живет и командует сердитая бабка, он не желает. Бабка готовит жирную невкусную еду, накладывает ее в плохо отмытые тарелки. На обед у нее всегда щи, словно она больше ничего не умеет варить. Мясо хотя и плавает в щах, но вываривается так, что становится похожим на резину — челюсти наломаешь, пока разжуешь. Или шлепнет в миску кость огромную от телячьего позвонка, а ее и в рот не засунешь, и глотать невозможно. Придется соскрести мясо ножом. Как Тоня будет управляться с этой костью?! Нет, приводить молодую жену в дом, где всем заправляет старая неряшливая ведьма, Гришка не собирается. Пришли к нему как-то в гости приятели, товарищи по работе, и попросил Гришка у бабки на пол-литра — так не дала, хоть он перед ней чуть ли не на коленях стоял. Дала только на пиво, которое продается в киоске, появившемся в центре села, а к водке привыкать запретила: «Тебе ли с молодых годов пить?»

Гришка считает себя вполне взрослым — недавно из армии вернулся. За год освоил профессию водителя. Повеселевший от сознания своей самостоятельности, Гришка одевается.

Катка все еще ревет, правда, в голосе ее нет такой силы и обиды, как вначале, — просто девочке жалко саму себя, и она продолжает плакать.

— Хватит! Перестань! Ты еще тут!.. — Старший брат дает сестре несильную затрещину, и рев возобновляется с прежней силой.

— За что ты ее, пралич, здоровый дылда? — кричит бабка. — За какое дело?

А Катка, предательница, жметесь к бабкиной юбке — обида ее перенесена на брата.

— Пошли вы все... — Гришка достает мобильник, звонит Тоне, договаривается о встрече.

— И как вы только говорите по етай штучке? — допытывается бабка, удивленно ощеривается.

— Это телефон, ба, я тебе сто раз объяснял.

— Не ври. А то я не знаю, какой бывает телехвон! Настоящий телехвон в сельсовете стоит, я там уборщицей почитай десять лет работала...

— Да хоть бы ты в министерстве работала — как была тупой, так и осталась! — сердится Гришка.

Катка, пользуясь моментом, переключила телевизор на какой-то дурацкий сериал.

— Да ну вас всех! — Гришка нарочно громко хлопает дверью, с облегчением выходит на улицу. Ночь наполнена тихими деревенскими звуками: лаем собак, шумят моторы иномарок, проносащихся по автотрассе. Воздух чистый, легкий. Приятно дышать им после жарко натопленной комнаты, где пахнет ягнятами, спасающимися от холодов в отдельном загончике на кухне, и неистребимым всепроникающим запахом вчерашних щей.

Гришка на ходу принохивается к своему пальто, морщит нос. Так и есть — и от него тоже пахнет проклятыми щами. Он ускоряет шаг, стараясь, чтобы пальто сильнее обдувалось ночным морозным ветром.

Над селом простор и звезды. На вольном воздухе у Гришки пропало желание выпить, ему и так хорошо, с каждым шагом на сердце становится теплее, уже заметен домик на окраине, его светящееся оранжевое окошко. Там, в доме у Марии Петровны Власовой, второй месяц квартирует Тоня.

«Не будь бабка, мать по-другому бы хозяйство повела, — размышляет Гришка, — чисто все было бы, аккуратно. Дом наш большой, все бы разместились. И Тоня была бы вполне довольна... Бабка, кажись, опять скоро заболит. Вчера в самый мороз в баню ходила, старая тетеря. Всю ночь потом стонала — спину, видите ли, ей заломило. Кто же заставляет ее после бани к пороссятам да курам выходить? Без нее, что ли, не покормят? Вот сляжет, и все — аминь! На этот раз ей не выкарабкаться. Отбросит бабка коньки — как пить дать...»

Каждую зиму бабка Махора помирает. Охая, идет за печь, ложится на лежанку, сделанную из старых ящиков, на кучу фуфаек, укрывается засаленным, без наволочки, одеялом.

Все одно бабке Махоре болеть — не зимой, так к весне. Весной еще хуже. В это время хворь мозглая, стылая, сердце обволакивает, книзу тянет. Весной помереть проще пареной репы. А зимой дышать легче. Глядишь, и выправится старая.

Когда Махора больна, хозяйством в доме заправляет сноха, Полина Петровна, женщина лет пятидесяти. Она топит печь, прибирает в доме, готовит еду, моет посуду, ухаживает за овцами и тремя большими уже пороссятами. На ее попе-

чение переходят также куры, утки и кролики.

Сын Махоры, Трофим Денисыч, работает в бывшем колхозе сторожем, охраняет склады с зерном, новые хозяева перевели коров и теперь занимаются зерновым бизнесом. Жена его — сельская почталыонка. До пенсии Трофиму Денисычу осталось доработать два года.

— Что, мать, заболела? — Трофим Денисыч с озабоченным видом заглядывает за занавеску. — Может, за Валентиной послать?

— Что Валентина, разве она поможет? Я, сынок, видать, отжила свое, — Махора протяжно и тихо стонет.

— Не буровь чего не следует, — вздыхает сын, — ты еще лет три... лет двадцать проживешь!.. А вы там потише! — ругается он на ребятишек. — Ишь, узъегозились, заболеть человеку нельзя.

Что касается внуков, то они даже рады, — бабка снова завалилась болеть, значит, меньше будет доставаться подзатыльников, никто не будет кричать, заставлять выполнять нудные и однообразные домашние дела. Ведь если бабка здорова, у нее не посидишь просто так: даже если не найдет для внуков занятия, то обязательно выговорит за безделье.

В середине зимы, в разгар метелей и заунывных ветров, бабку настигает простуда, которая переходит затем в «самое нутро». Сердце не по-хорошему ворочается, словно в левой стороне груди, под дряблой кожей, поселился непоседливый молодой зверек — то в одну сторону кинется, то в другую, то вверх, к горлу прыгает, скребется маленькими востренькими когтями. Вот-вот, кажется, раздерет Махорину грудь и выпрыгнет наружу...

Бабка подолгу рассказывает про свою болезнь соседке Валентине, заведующей в селе медицинским пунктом.

— Сейчас жизнь разумная, сытная, слава богу, — смиренным тоном заключает бабка, — все болезни вылечивают, люди стали грамотные, ученые... Если бы меня, Валюшк, смолоду беречь и лечить, я бы крепкая была... А то ведь все здоровье на детей да на внуков истратила. И сейчас жалею их, паразитов, работаю с утра до ночи. А они не понимают, чтобы для дома, для хозяйства что-нибудь сделать, кусок хлеба не берегут, как попало швыряют...

Валентина просиживает возле больной дня-

ми и ночами, изредка отвлекаясь на других, не тяжелых больных. Пройдет по селу с чемоданчиком, сделает кому надо уколы, раздаст таблетки «от живота», посмотрит горло ребятишкам, наглотавшимся во время игры снега, если нужно, выпишет направление в больницу. И — снова к Махоре.

Когда бабке плохо, она задыхается, лицо ее синееет, рука вяло свешивается до пола. Валентина в это время колет ей укол за уколом, перекладывает старуху удобнее, в сидячее положение. «Ну и тяжелая! — удивляется молодая соседка. — На вид сухая, а неподъемная, как из железа сделана. Ей бы режим соблюдать, диету — она бы сто лет прожила».

Лекарства действуют, совершают в крови старухи свою невидимую работу, и темные Махорины губы светлеют, дыхание становится ровным, и бабка полными радости и надежды глазами глядит на маленький замызганный образок, висящий на облупленной стенке печи.

— Слава те господи, отпустило! — крестится она.

Каждое утро Валентина слушает бабкино сердце, и каждый раз меж дряблых грудей видит кисет, привязанный за шнурок к шее. Там деньги. Сколько — неизвестно никому, даже членам семьи. В кисет бабка складывает деньги, вырученные от продажи молока, которое покупают учитель начальной школы Иван Проккопьевич, соседка Валентина и бывший колхозный бухгалтер Варламыч. Когда кисет наполняется доверху, бабка опорожняет его, перепрягивая деньги подальше.

Однажды утром Гришка, маявшийся с похмелья, подобрал к бабкиному сундуку ключ и открыл его, надеясь найти там деньги. Гришка собирался с полочки положить деньги обратно... Приподняв увесистую крышку, старший внук обнаружил поверх тряпок потемневшую от времени, коричневую церковную книгу в гулком деревянном переплете, обтянутом кожей, с металлическими застежками. То, что книга церковная, Гришка догадался по ее внешнему виду, да и простую бабка вряд ли стала бы держать в своем сундуке.

Перелистав темно-желтые, будто закопченные листы, Гришка разочарованно закрыл книгу — меж страниц он не нашел даже десятки. Швырнув книгу в угол, внук принялся пе-

ребирать узорные полотенца, платья, кофты, вонявшие какой-то дрянью, положенной от моли. Наконец у самого дна рука нащупала твердый прямоугольный предмет. Вытащив его наружу, Гришка сплюнул, — это была фотография молодой бабки, вделанная в рамку. Отставив портрет на расстояние вытянутой руки, Гришка невольно залюбовался: бабка-то, оказывается, была когда-то красавицей!

Фотография хорошо сохранилась. Сделанная в светло-серых мягких тонах, она была неброской и в то же время привлекала внимание. Девушка с гордо поднятой головой, с вьющимися короткими волосами, с тонкими темными бровями, с едва заметной улыбкой глядела на Гришку. Он ни за что не признал бы в этой молодой женщине бабку, если бы не эти глаза — прищуренные, строгие, видящие насквозь. Гришка осторожно положил портрет на место, поправил тряпки, с задумчивым видом опустил крышку сундука.

Задняя облупившаяся стенка печки горячая, в Махорином закутке жара. Впрочем, жары бабка не чувствует — такая температура для нее самая подходящая: и костям приятно, мягко, и дремлет лучше. Вечером, часов в восемь, бабке пора засыпать, а внуки все никак не угомонятся. Валерка с Катькой подняли возню на диване, стараются столкнуть друг друга на пол. Слышится глухой шум, затем удар о доски пола мягкого детского тела. По этим звукам бабка привычно угадывает, что Катя спихнула с дивана вялого в борьбе Валерку. Внуки хохочут, от их голосов у бабки звенит в голове.

— Вот паразиты, — тяжело дышит старуха, — наказал же господь такими внуками. Фулиганят без конца. Взять бы хворостину...

— Лежите, бабушка, спокойно! — Валентина сидит рядом на табурете. В закутке пахнет эфиром, жженой ватой. Впившись в тощую бабкину спину, зловеще поблескивают круглые медицинские банки, кожа под ними вздулась черно-фиолетовыми грибами.

— Хорошо взялись, — ошупывает Валентина плотно всосавшиеся банки, — на ночь это помогает.

У Валентины к бабке Махоре двойственное чувство: с одной стороны, ей жаль старую большую женщину и она по мере возможности помогает ей как медсестра, с другой стороны,

жадность бабки, ее злобный нрав вызывают у Валентины раздражение. Кажется, старуха живет на свете без всякой радости, по принуждению, покорно неся на себе груз бесконечных хлопот по хозяйству. Ни разу Махора не дала Валентине молока за так, без денег, но, желая отблагодарить свою спасительницу, продает ей молоко по дешевке — по двадцать рублей за трехлитровую банку, в то время как со всех остальных берет по тридцать. Но и молоко, надо сказать, хорошее, жирное и вкусное.

Отлежавшись, перемолов остатками зубов множество таблеток — почти половину аптекарского запаса Валентины, бабка встает, начинает помаленьку, со стонами, шаркать по комнате, затем все чаще выходит наружу, стоит на пороге. Недельки через две она вновь работает, как и прежде. Рано утром далеко по улице слышно, как Махора скликает кур.

— Тюка, тюка, тюка! — кричит поутру бабка своим пронзительным жутким голосом, тревожа еще не проснувшихся соседей.

Разбуженная Валентина, приподнявшись в постели, улыбается: пациентка, умеющая издавать такие звуки, вполне здорова.

Весной повторяется цветение садов. Бабка к этому времени полна сил, чем попало колотит внуков.

— Зачем траву топчете, дьяволята? — гонит она их из палисадника. — На луг ступайте. Там трава общая, казенная... Ничего для дома, анчутки, не делают, а баловаться горазды. Сущее наказание!

Сад цветет. Яблони раскрыли яркие, розовые под солнцем бутоны. Глядя на них прищуренными подслеповатыми глазами, бабка на какое-то время забывает обо всем, тянется острым носом в белизну пушистых цветов. Поставив на зеленую траву заляпанное поросычьим месивом ведро, мокрым грязным пальцем с прилипшими к нему разбухшими хлебными крошками она трогает самую сердцевину цветка, тычет в нее длинным синеватым ногтем, оставляя на лепестках серые точки месива, отлипшего от рук. Махору интересует, урождаются ли в этом году яблоки или нет? Если будет урожай, то сколько примерно ящиков и с каких деревьев, и куда, наконец, везти плоды — послать сноху с Гришкой в город продавать ябло-

ки на базаре или сдать урожай перекупщикам, что, конечно, проще, хотя и выйдет дешевле? И не забыть охлопотать к этому времени справку о том, что и сад и яблоки принадлежат именно ей — Марфе Андреевне Смахиной.

По огороду Махора идет задумчивая, наклонив голову, старается не задеть ветви вишен, густо облепленных белыми, похожими на снежные хлопья цветами. Они касаются лица старухи, щекочат его мягкими осыпавшимися лепестками. Бабка вздыхает: пора разрядить, подчистить вишенник, иначе сад загустеет, вишни вырождаются, станут мелкими, кислыми и компот из них получится плохой, а бабка его очень любит.

На меже, где начинается пашня, Махора отстанивается. Прислонив к глазам ладонь козырьком и согнувшись в пояснице, внимательно оглядывает огороды. На своем участке бабка планирует посадить картошку и немного помидоров. Межа узкая — старуха лично наблюдала за пахотой и следила, чтобы Трофим Денисыч прихватывал плугом побольше от соседских меж. Добилась того, что и ступить негде — осталась от межи узкая полоска, но бабка довольна — ее участок стал шире соседских.

Жаркие дни бабка не любит. В это время она сидит в тени с открытым ртом, часто вдыхая приторно-теплый воздух. Во время полуденного зноя дремлют под кустами куры, примолкли в своем хлеву поросята — они не хрюкают, дремлют в темных углах.

Бабка часто приходит к соседям во двор и без всякого спроса шарит по сараям — ищет свою курицу, которая, как подозревает Махора, откладывает яйца в чужих гнездах. Старуха давно грозит прирезать ее, да жаль — курица несет много яиц, хотя и блудная: то в лопухах найдет бабка яйцо, то в пыльной ямке под кустами сирени, то прямо среди картофельной ботвы. Это еще ладно, но то, что курица садится в чужие гнезда, про это бабка и думать спокойно не может. Вот и ходит за глупой курицей, гоняет из чужих дворов, кричит и шумит на нее, как на человека.

— Замечу в соседском гнезде — голову оторву! — каждый раз обрекает бабка непутевую курицу. — Отсеку башку топором, так и знай, собака этакая...

Старуха приходит к соседям искать несущее

яйца, якобы снесенные ее курицей. Заходит во двор и к молодой соседке. Бабка всегда является неожиданно, черной тенью возникает в дверях сарая, пугая Валентину угрюмым выражением лица.

— Валюшк, ты не знаешь, где моя курица, где эта гадина? Все куры как куры, только одна чудная... — И, не ожидая ответа, принимается шарить по гнездам, выпугивая из них Валентиновых кур, усевшихся нестись. Находит яйцо, еще теплое, разглядывает его, поднося близко к слезящимся глазам.

— Валюшк, это яйцо от моей курицы. Вишь — скорлупа коричневая, вроде как чаем облитая. Возьму-ка я его...

— Что ж, берите. — Валентина, закусив губу, поворачивается и уходит из сарая.

Махора идет с яйцом по тропинке и видит шалопутную курицу, не спеша пробирающуюся через огород. Старуха торопливо бежит ей наперерез, спотыкаясь на глудках свежевспаханной земли.

— Вот она! Держите эту сволочь! — кричит бабка, размахивая зажатым в кулаке яйцом. — Кыш! Пошла домой, проклятая тварь!

Долго гоняет бабка непутевую курицу, топчет соседскую редиску и укроп. Наконец курица — растерянная, испуганно орущая, — перескачет межу и на крыльях летит в свой двор.

Махора набегалась, злая. Издалека слышно, как она тяжело, с натугой дышит. Вскоре с соседского двора слышится свист хворостины и плач среднего внука Валерки.

— Я те покажу! — кричит бабка. — Ты у меня еще не так получишь. Подумать только — кошке творог отдал! Вот тебе за это, вот!

— Скорей бы ты сдохла! — хнычет Валерка. — Скажу вот тете Вале, чтоб больше тебя не лечила.

Иной раз Валентину разбирает такая злость, что хочется затопать ногами, закричать и заплакать. Но молодая женщина сдерживается, зная из рассказов односельчан, что бабка многое вынесла на своем веку. Оставшись без мужа, Махора батрачила, кормила одиннадцать детей, из которых шестеро все равно померли от разных болезней. Из оставшихся пяти старшую дочь зарезало поездом. С тех пор бабка всегда с опаской обходит вагоны, стоящие на путях возле станции, боясь, что они внезапно поедут. Последние двад-

цать-тридцать лет старуха никуда не ездила, и, когда Гришка сказал ей, что паровозов давно уже нет — их заменили тепловозы, бабка не поверила:

— Не брещи! Как это нет паровозов?! Кто же тогда гудит за лесом?

Один Махорин сын, младший брат Трофима Денисыча, сгорел во время пожара: спал пьяный в деревянном, крытом соломой домике и не успел выскочить. Его-то и нужно было в первую очередь вытаскивать из огня, но Махора в тот момент растерялась, испугалась, с криком побежала звать людей. Приехали пожарные, привезли мощный насос, долго настраивали его, и когда он наконец заработал, то выпустил струю такой силы, что клокастая горящая солома разлеталась во все стороны, словно пух, с треском валились кривые, охваченные огнем стропила. Воды было много, выкачали погреб, с весны наполненный водой, но сына спасти не удалось.

Это было давно. Валентины в ту пору, наверное, и на свете не было. Теперь на месте деревянного домика литой шлаковый дом, построенный Трофимом Денисычем. Младшая внучка Катя зимой катается по просторному залу на маленьком трехколесном велосипеде.

По субботам бабка ходит в баню. К обеду непременно возвращается, чтобы кормить скотину — кур, гусей, поросят, давать пойло телку.

В бане, несмотря на запрет Валентины, заходит в парную, лезет на полку и сильно хлещет себя березовым веником. Из бани бабка еле ползет — согбенная, совсем старая, закутанная в теплый платок и плюшевую жакетку. Идет не спеша, но уверенно, только руки дрожат да по лицу, по красным морщинам, ползут крупные прозрачные капли пота, собираясь на кончике носа и на подбородке.

Сразу в дом бабка не заходит, а садится на толстое бревно возле изгороди и с полчаса отдыхает, вяло опущенными руками придерживает кончики развязавшегося выцветшего платка, из-под которого выбиваются патлатые седые волосы, свисающие мокрыми, сохнущими на теплом летнем воздухе висюльками. Махора глядит в землю и о чем-то думает. В этот момент она добра — погладит кошку, если та вдруг начнет тереться о ногу, подзовет внучку и, если Катя подойдет, даст конфету, смяв-

шуюся от долгого лежания в кармане. Гостинцы в этот день у нее обязательно при себе — угощает конфетами Валерку, Гришке дает десятку на пиво, а тот морщится — мало!..

Посидев на солнышке, бабка кормит скотину, потом уходит в дом, в свой закоулок, и часа два, а то и больше, спит. Проснувшись, вновь принимается хлопотать, шаркает в калошах по двору, скликая кур, и внучка больше к ней не подходит.

Весеннюю пору бабка не любит.

— После зимы как после войны, — говорит она, — очень уж делов много.

Едва подсохнет почва — надо копать огород, убирать в палисаднике старый хлам, сваливать его в кучу посреди выгона и поджигать. Да следить при этом, чтобы ребятишки не баловались с огнем, чтобы они, избави бог, не наделали пожара, которого бабка боится больше всего на свете.

Потом выведутся цыплята, утята, сноха привезет с рынка двух, а то и трех поросят, и пойдут обычные хлопоты. Весной никакое удивительное чувство вроде радости или надежды на что-то лучшее бабкину душу не посещает. Махора равнодушно смотрит, как осыпаются цветы сирени, как сильный полевой ветер выдувает пушинки из беззащитных головок одуванчика, как дети со смехом выбегают на прогретый зеленый выгон.

В середине мая бабка посадила помидоры. Она не стала бы их сажать, потому что рассада в нынешнем году дорогая, но у соседки Валентины была своя рассада, еще с апреля заботливо выращенная на подоконнике в банках, наполненных землей. Лишние ростки Валентина отдала Махоре.

Старуха посадила помидоры на небольшом клочке земли возле старой груши. Участок вскопала сама, ругая при этом сына, который не захотел как следует наточить лопату. Прискородив землю граблями, бабка вдруг обнаружила, что груша своими густыми ветвями загораживает помидоры от солнца. Будь бабкина воля, она бы давно спилила это полудикое дерево, каждый год рождающее мелкие, быстро осыпающиеся плоды, которые почему-то не едят поросята. Трофим Денисыч, однако, эти груши любит, сушит их на чердаке. Часть плодов сноха замачивает в кадушке.

После семейной ссоры, когда Махора окон-

чательно допекла Трофима Денисыча, тот сдался:

— Пили, дьявол с тобой. Только не всю, а суки, которые внизу. Верхушку не трожь. И пили сама как хочешь, у меня на это дерево рука не подымется.

— Отпилю, — буркнула бабка, — нешто вас, лодырей, заставишь? Помидоры первые лопать будете, тогда вспомняете меня.

После обеда, когда сын уехал на работу, бабка пошла в сарай и взяла ножовку. Хорошая плотницкая пила была спрятана у Трофима Денисыча в отдельном ящике, поэтому бабке досталась ржавая расхожая ножовка — тупая, с расколовшейся ручкой. Этой ножовкой пользовался обычно Валерка, отпиливая деревянные бруски для своих ребячьих игр.

Ветви груши начинались низко, и Махора полезла по ним, как по перекладинам лестницы, прикидывая, за какие приняться в первую очередь. Бабка торопилась — день клонился к вечеру, скоро надо было собирать в ящик цыплят, приводить с выгона телка, привязанного на веревке, готовить ужин и выполнять остальные привычные дела.

Ножовка брала плохо, туго елозила по суку. Отскакивали сухие кожуринки, затем на древесине появлялась белая полоска, и двигать пилой становилось труднее — зубья зажимались влажной волокнистой древесиной, пахнувшей кисло-горьким молодым соком.

С сухих корявых веток осыпались белые душистые лепестки. Их запах был так силен, так сиропно-сладок, что у Махоры кружилась голова, и старуха крепче обнимала ствол дерева, чтобы не упасть.

Долго скандыбала Махора тупой пилой, пока наконец первая ветка с хрустом надломилась. Ветка не упала, а только печально зашелестела и всеми своими колючками вцепилась в прочные соседние ветви. Пытаясь столкнуть ее, бабка уколола руку. Деревянная сухая игла впиалась в синеватую змеистую вену, жгутиком выступающую на красной разлапистой руке. Махора вначале не почувствовала боли, но, увидев шип, торчащий из кожи, быстро выдернула его. Из маленькой точки прокола родничком забила темная густая кровь.

— Валерка, идоленок, где ты? — позвала баб-

ка, зная, что внук бегаёт где-то неподалеку. Сама же, несмотря на жгучую боль, продолжала толкать отпиленную корявую ветку. И вот спиленный куст, шурша глянцевитой плотной листвой, шлепнулся на землю, заворочался, словно не веря, что он уже навсегда отделен от ствола.

Солнечный яркий луч, не задерживаемый более этой веткой, хлынул в сад, ударил в глаза. На мгновение ослепнув, бабка прикрыла веки. Неожиданно она вспомнила, какой была груша в те времена, когда она, девушка Марфа, душистой майской ночью стояла под этим деревом со своим будущим супругом Денисом, убитым потом на войне. С тех пор многое изменилось, и только груша оставалась все такой же и каждый год щедро цвела. Она не истрепала в работе и в горе своего тела и чуть шевелила ветвями, наполняясь весенним соком.

— Ба, чего звала? — под грушей белела голова Валерки. — Куда тебя занесло, ба? Я бы залез да отпилил.

— Дождешься тебя, как же... — со вздохом произносит бабка. — Ступай лучше в дом да принеси чистую тряпицу... Нет, постой, лучше сорви подорожник, что помоложе да позеленей. — Кровь из руки течет, я накололась.

— Не будешь лазить куда тебя не просят! — назидательно произнес внук. Оглядевшись по сторонам, он тут же, у себя под ногами, нашел и сорвал подорожник. Забравшись на нижний сук, подал листок бабке.

Та смочила листок слюной, помяла его и приложила к больному месту. Кровь почти тотчас остановилась.

— Ну что, все? — нетерпеливо спросил ожидавший внизу Валерка.

— Все, все... — бабка раздраженно взмахнула ножовкой. — Иди себе, играй.

Старуха часто отдыхала. Мешали ослепительные солнечные лучи. К вечеру они шли все ниже и ниже, залезая под кроны деревьев, пронизывая мрак сада.

Махора, стряхивая с потного лица прилипшую паутину и труху, отпилила еще несколько веток, а они, тяжелые, пахучие, никак не хотели отрываться от своих подруг и падать на землю, укутанную влажной вечерней тенью.



1

«Клёванный коршуном», — так говорят о нем в деревне. У Ивана рваная губа — в детстве, когда лазил по деревьям за птичьими яйцами, губу ему разодрал когтями молодой коршун. К пятидесяти годам Иван сам сделался похожим на хищную птицу — заострившийся нос, вечно злые глаза.

Семья коршунов проживает неподалеку, на уступе скалы, выступающей над речным простором. Кхэн. Так зовут пожилую коршуниху, она часто дает мужу Гэнху советы. Она угово-

рила его переселиться с вершины старого дуба на отрог скалы, куда никто не сможет добраться. Кхэн больна. Однажды она попросила мужа принести ей кусочек уха давнего врага, Ивана, возомнила, что если она склюет это ухо, то тотчас выздоровеет.

— Я не хочу снова враждовать с ним... Я порвал Ивану губу, а он в порыве гнева отрезал мне лапу. Взаимная ненависть рождает новую, еще большую ненависть. Лучше я принесу тебе кусок говяжьей печенки!

— Хочу отведать человеческой плоти, вражеской плоти! — стояла на своем Кхэн.

— Я не дикарь, я честный коршун! Я не собираюсь мстить человеку за давнее зло, хочу всё забыть.

— Тогда я сама накажу его!

— Не надо никого наказывать. Ты больна и слишком слаба. В схватке с человеком ты погибнешь. У него есть ружье, он до сих пор продолжает на нас охотиться. Мы чудом дожили до своей старости!

На глазах Кхэн появляются слезы:

— Не хочу умирать... — тихо произносит она. — Я слабею, внутри меня постоянная боль...

— Ты не умрешь! Я сегодня полечу на бойню, в райцентр, принесу тебе кусок свежего мяса, ты выздоровеешь.

2

Гэнх стремительно мчится сквозь лес, задевая краешком крыльев стволы ради ощущения скорости, и, при всей своей лихаческой стремительности, крылья не повреждает, а лишь чиркает ими о замшелую кору — раздается сухой шорох, почти визг мха, отваливающегося от стволов серой пылью; коршун умчался уже далеко, а мшинки все еще падают с легким шелканьем на прошлогоднюю листву, устилающую желтым слоем землю.

Вылетел за пределы леса, впереди — райцентр! Небо обнимает коршуна серебристой прохладой, жир на перьях блестит под яркими, ватного оттенка, тучами.

От полей поднимается сырость после дождя, от речушки, змеящейся в овраге, доносится запах осоки. Старый коршун летит из заповедника в райцентр, где на окраине расположена бойня.

Сюда должны привезти последних колхозных коров. Бойня расположена возле полуразваленной фермы, под дощатым навесом грубая скамейка, вкопанная в землю, стол, обитый железом, мужики в ожидании работы щелкают костяшками домино. Грузовики с коровами где-то задерживаются. Пронзительно визжит лезвие ножа, затачиваемого на электрическом круге, из-под острого стального лезвия веером летят искры.

3

Хищник ждет своего часа на крыше старого телятника, иногда, устав от неподвижности, скачет вдоль конька длинного строения, удерживая равновесие с помощью крыльев.

— Опять однолапый пляшет! — указывает рукой молодой рабочий. — Проголодался, наверное, сегодня отдам ему потроха!

Наконец подъехал грузовик с тощими коровами, и уже через два часа подвыпившие горластые мужики начали выбрасывать отходы.

Гэнх наелся потрохов, выбрал кусок мяса для больной жены и полетел домой. Коршун живет в заповеднике — самом маленьком в мире, занимающем несколько десятков гектаров. Заповедник уникален своими растениями, сохранившимися с доледникового периода. Сюда редко заходят браконьеры.

Гэнх возвращается в лес, летит через поселок нефтяников, над плоскими кровлями пятиэтажных домов, над асфальтированными улицами, по которым ползут сверкающие автомобильчики. Старому коршуну интересно узнать, кто в них едет, но лень снижаться, чтобы заглянуть в черные сверкающие окна.

4

Иван несколько лет назад выстрелами из охотничьего ружья прогнал из деревни семейство коршунов, живших на вершине старого дуба. В птиц не попал, гнездо разлетелось на мелкие щепки. Истратил запас патронов, сбив дробью почти всю листву с вершины дерева.

Коршун, не выпуская из клюва кусок теплого мяса, скрывается в сосновой чаще, разгоняя крыльями запах душистых, нагретых солнцем иголок. Крылья вжимают по кромке известняка

— здесь, на меловой скале, укрыто среди зарослей его гнездо. Залезть на скалу может опытный альпинист, а какие в деревне Тужиловка спортсмены? Ивану за пятьдесят, на голове у него почти совсем седые волосы. Но мужик он крепкий, а выпив, грозит коршуну кулаком, обещает достать его на самой высокой горе.

Иван почти каждый день заезжает на тракторе в заповедник, давит колесами цветы, толстые шершни на лету бьются в стекла кабины. Время от времени Иван нащупывает под сиденьем ружье, заряженное крупной дробью.

Сбитые ветровым стеклом шершни подрагивают на горячем, в царапинах, капоте трактора. Насекомые лежат на спинах, смешно болтают лапками. Стекла в кабине закрыты — шершни кусаются очень больно, от их укусов бывали смертельные случаи.

Иван еще в советские времена пытался вывести шершней, вылил в овраг тракторную цистерну аммиачной воды. И долго еще после этого случая местные экологи писали осуждающие статьи и газете и жаловались на самый верх. Председателя колхоза оштрафовали за нарушение природы заповедника, а Иван, в то время самый лучший местный тракторист, отделался строгим выговором и лишением премии за вспашку зяби.

5

Сегодня Иван решил окончательно покончить с коршуном. Ближе к обеду он бросил пахать землю под озимые, сказал бригадиру, что задержится после обеда по своим делам... Примерно в полдень он подъехал на колесном тракторе к меловой скале, которая нависает над трактором стеной многоэтажного дома. Из-под скалы выбегает ручей. Иван глушит мотор, вылезает из трактора, наклоняется, пьет из родника.

Затем достает из-под сиденья трактора ружье, вынимает из мешка веревку, клинья от бороны, которые сам заострил в кузнице. Он видел по телевизору, как альпинисты забивают в скалы клин за клином, затем цепляют за них веревку. И у него тоже получилось. Иван поднимается метр за метром вверх, в прокуренной сиплой груди шипит злая энергия. Ружье висит за спиной на ремне.

Выступающие плиты позволяют цепляться за них. Некоторые ровные и плоские выступают далеко вперед, будто балконы без ограждения. Здесь можно отдохнуть, проверить снаряжение. На одной из таких плит Иван встает в полный рост, переводит дыхание. До самой реки, сверкающей на горизонте, расстился синеватый хвойный лес. Иван переводит дух, рассматривает дымчатую панораму полей, течение сине-свинцовых речных волн, желтую кромку противоположного берега, ярко-зеленую осоку, сгибающуюся под струями воды, то поднимающую, то опускающую острые листья. Плита под ногами уходит метра на три вперед, в белых точках птичьего помета. Иван машинально выкуривает еще одну сигарету. Затем бросает окурок, летит вниз малиновый огонек, теряясь в траве между алых ягод.

6

Гнездо коршуна схоронено в выемке, заметны сухие веточки, травинки, прутики, белеют обрывки полотенец доярок. Иван узнал рукав своей телогрейки. Он вздрогнул — ему почудилось, что это его оторванная рука.

«Значит, этот паразит тоже следит за мной?» — невольно подумал он, спину зашекетали мурашки страха.

Ивану осталось сделать последнее усилие, чтобы взобраться на скалу. Пот ручейком стекал по сильной, в напряженных мышцах груди. Однако коршун первым заметил человека и почти внезапно, с шорохом крыльев налетел сверху, сбил с Ивана промасленную кепку, вцепился в голову человека когтями.

Ружье выскользнуло из рук, полетело вниз, блямца по выступам камней то звонко стволлом, то глухо прикладом.

Иван машинально вцепился правой рукой в хрусткое перьевое горло птицы, лицо закрыл левой ладонью, чтобы коршун не выклевал глаза.

— Убью, сволочь... — Иван почувствовал, что падает со скалы, попытался вцепиться в траву, скудно росшую на камнях, но та вырывалась с корнями, обдавая лицо крошками земли. Он вдруг понял, что это не е г о коршун, у этого было две целых лапы.

Кхэн била клювом, норовя выклевать чело-

веку глаза. Иван, не выпуская птичьего горла, стремительно летел вниз, распахнутые крылья коршунихи трещали по камням. В падении коршуниха, обдавая лицо Ивана болезненным жаром клюва, схватила человека за мочку уха, с силой выдрала мякоть... Иван закричал...

Удар о землю показался мягким и почти долгожданным. «Отмучился!» — подумал про себя Иван.

Коршуниха попыталась высвободиться из судорожно сжатой ладони человека. Дышать ей было нечем, она хрипела. У Кхэн не было сил расклевать врагу лицо. Потрепыхав беспомощно крыльями, она легла на грудь Ивана, глаза ее, наполненные слезами, остановились, помутнели, отражая небо над рекой.

7

Вскоре прилетел Гэнх, он увидел под скалой лежащего Ивана, правая рука которого сжимала горло Кхэн. В клюве у нее зажата мочка уха, подсыхающего черной кровью.

Иван был жив, он слабо стонал, пытаюсь пошевелиться. Лицо человека с закрытыми глазами выглядело жалким, изо рта его текла тоненькая струйка крови, падала каплями на траву, теряясь среди ягод.

Гэнх встал на единственную лапу, оттолкнулся от груди человека и полетел к соседнему полю, где работали трактористы. Коршун кружил над полевым станом, летая на уровне роста людей, едва не задевая их лица. Трактористы как раз собирались на обед.

— Да это же Иванов коршун! — воскликнул кто-то. — Вот лапа-то, одна-единственная!

— А где же Иван?

— Отпросился, сказал, что надо съездить домой! — пояснил бригадир.

— Не нравятся мне виражи однолапного, куда-то он нас зовет... Заводи, Вася, трактор, поедем с ним!..

8

Очнулся Иван в больнице с забинтованной голловой, ощутив тяжесть гипса на правой ноге.

— Оживел? — над ним склонилось круглое лицо соседа по палате. Это был мужчина лет

сорока в спортивных штанах, с бинтами на голлом животе, торчал кончик алого рубца, сшитого крепкими белыми нитками.

— Где я, что со мной?

— Ты в больнице, со скалы упал. Тебя привезли трактористы. Вовремя они тебя нашли...

Иван смотрел на свой разбитый, в болячках, кулак, разжал его, выскользнуло маленькое серое перышко. Слабым голосом рассказал соседу по палате о давнем случае: послевоенное детство, голод. Он, мальчик, лазил по скалам, собирал птичьи яйца, чтобы накормить мать, бабушку, сестренку, и вдруг наткнулся в одном из гнезд на коршунёнка. Надо было слезть и убежать, а он захотел забрать молодую птицу на еду, начал запихивать коршунёнка за пазуху. Птенец вырвался из рук, вцепился когтем в губу мальчика, прорвал ее насквозь. И сам в этой ранке увяз.

Ванька заорал, высвободиться от когтя сразу не смог. Усевшись на толстую ветку, мальчик кричал, пытаясь вытащить лапку из раны. Ничего не получалось, только еще более становилось, и коршунёнок от ужаса хрипел, обивая крыльями мальчишечье лицо. Ванька вспомнил про складной ножик, достал его из кармана, открыл лезвие и торопливо, пилящими движениями отрезал коршунёнку лапу, которая под лезвием ножа хрустнула, словно веточка, выступила кровь из раны, надулась красным шариком, будто алый сок на сорванном стебле. Наступила очередь молодого коршуна закричать хриловатым неокрепшим голосом, жгучие капли крови упали на лицо мальчика и прижглись на коже темными точками, вроде как родинки образовались.

— Я очень хотел есть... — словно бы оправдываясь, говорил Иван. — Ни одного птичьего яйца в тот день добыть не удалось, и я слизнул с губ эти проклятые капли, до сих пор во рту горят!..

Иван окончил рассказ и теперь смотрел затравленным взглядом на свое забинтованное тело. Одна нога у него шевелилась, и он надеялся в ближайшее время покурить на балконе. А курить очень хотелось. Кто-то из догадливых трактористов положил ему на тумбочку нераспечатанную пачку «Примы» и коробок спичек.

— Лапку отрезанную принес в губе домой,

брат помог ее вынуть, повесил на ветке дерева посреди выгона, привязал леской, она долго там болталась, зимой ветер в ней звенел.

— У птиц нет чувства мести, я читал об этом в газете! — сказал сосед по палате.

— Для чего же этот коршун так долго всё кружит над моей жизнью? — воскликнул Иван, ощущая боль в голове и во всем теле. — Почему он всегда вырывался из моих сетей и не умирал, когда я попадал в него дробью?

Сосед по койке пожимает плечами, дескать, мало ли чего в жизни случается...

— Коршун! — бормочет Иван, чувствуя всегдашний шрам под нижней губой. — Я уже стар и скоро не смогу работать... Я коршун с подрезанными крыльями...

9

Сосед по палате уже спит, есть такие люди, которые засыпают мгновенно, едва голова прикоснется к подушке. Летний долгий вечер постепенно переходит в ночь, которая укрывает июньским полусветом сельскую двухэтажную больницу, ближние леса и поля.

Иван, подпрыгивая на одной ноге, с жадностью закуривает сигарету. Из ближайшей роши показывается черная точка, она вырастает, Иван различает знакомый силуэт коршуна. Зажженная сигарета падает из дрожащих пальцев вниз, огонек выписывает затейливый малиновый узор.

Человек в отчаянии стонет, ему хочется уйти с балкона, однако им вдруг овладевает странное оцепенение: «Зачем он снова прилетел ко мне?»

Сделав вираж над балконом, коршун вновь стремительно разгоняется и, ударившись на полном лету о стену, падает вниз. Трепыхнувшись возле фундамента, птица затихает.

— Зачем ты это сделал? — восклицает Иван.

Коршун перестает шевелиться, похрапывает сосед по палате, звякает пробирками дежурная медсестра.



Издалека оно видится лесом, а подойдешь ближе — среди зелени различаются покосившиеся кресты и ограды. И чем ближе подходишь, тем все больше их становится, и кажется, что кладбище неведомым образом начинает окружать тебя со всех сторон. Полированный мрамор надгробий соседствует с замшелыми плитами известняка. Под слоем мха выбитые на камне старославянские буквы. Кто их теперь прочтет? Под старинными мутными стеклами размытые до бледности фотографии умерших.

Старик и ветеран всех событий Пал Иваныч, с которым мы решили навестить могилы родственников, был когда-то активистом,

председателем местного колхоза, в нем закипел стихийный гнев при виде пышных мясистых лопухов и серой серебристой полыни, отражающей свет примеркающего солнца. Край, забытый войнами, революциями, перестройками, — воистину скучные места! Неожиданно из кустов выломился мужичок лет пятидесяти — в мятой кепке, на плечах спецовка, из отвислого кармана пиджака торчат плоскогубцы, на локте висит скатка проволоки. Мы его тотчас узнали: да это же бывший колхозный электрик Платоша из соседней деревни Цкнтроповка! Провод яркой желтой линией терялся в кустах.

— Эй, техническая душа! — выпучился на него ветеран. — Ты чего здесь бродишь? Какой эксперимент проводишь над мертвым классом? Ты, наверное, какой-нибудь злоумышленник?

— Ды-к, я тут, ничаво... — Платоша сдвинул к затылку кепку-восьмиклинку, над которой вилась мошкара. Он часто моргал, глаза его покраснели от цветочной пыли и тополиного пуха. Повсюду в безветрии плавал потревоженный пух цветов, вихрились полоски разодранной паутины. Электрик часто моргал, веки краснели от пыли. Он снял на минуту кепку — во все стороны торчали рыжие взлохмаченные волосы.

— Рассказывай, мужичок, что ты сотворил из дармового колхозного матерьяла?

— Хотел я робота сделать... — отвечал рассудительно Платоша. — Но такую чуду разве делаешь?.. Был у меня железный поросенок, бегал по деревне как живой. Баба моя ругалась — лучше, дескать, настоящую животину заведи, нищета техническая!.. А нынче поросенок мой после обеда убежал куда-то, не видать. Небось, схоронился — за ним участковый на желтом мотоцикле гнался, знать, уж арестовал...

Платоша неразговорчив от природы. На все расспросы вздыхает, пожимает плечами. Когда-то я написал про него очерк «Кулибин из деревни Цкнтроповка». В прежние времена колхозная власть критиковала его за «неактивность на собраниях и общественную пассивность». Если не ходит на собрания, значит, скрытый враг.

Кладбищенская трава скрывала человека почти наполовину. В кустах цвиркали на раз-

ные голоса птиц. И только голос Пал Иваныча нарушал эту безоглядную тишину.

— К мертвецам кабель протягиваешь? — насмешливо хмыкнул ветеран, вступая на аккуратную тропинку, вьющуюся меж могилами в неизвестном направлении. По периметру кладбище, согласно древним правилам санитарии, обнесено глубоким забурьяненным рвом.

Платоша вновь со смущенным видом водрузил на голову кепку, козырьком немного вбок. Я поздоровался с механиком за руку. Он меня помнил, мои хвалебные заметки о его творчестве не один раз привлекали к его работам общественное внимание, его заметило районное начальство, Платоше было присвоено звание «Заслуженный рационализатор сельского хозяйства».

Тем временем Пал Иваныч продолжал озираясь по сторонам, он никак не ожидал встретить здесь изобретателя — по кладбищам все больше старушечий класс шныряет!

— Да я тут... ничего... — пробормотал Платоша и расчихался от серой пыли, подымавшейся с огромных лопухов, заполонивших тесные кладбищенские пространства. Дикая трава доходила до пояса. Пряный запах растительности, смешанный с корешковой вечной сыростью, кружил голову и одновременно трезвил влажной терпкостью.

Пал Иваныч вновь обратил внимание на желтый провод, убегающий внутрь зарослей, схватил его, потянул: это ещё что тут такое мистическое? Провод с шуршанием поволокся под его усилиями по траве.

Электрик, заикаясь и мямля, признался, что собирается провести эксперимент по временному оживлению покойников, дескать, соскучился по матушке, по бабушке, хочет с ними «побалакать».

Ветеран остался недоволен таким ответом:

— На каждом шагу вредители, маскирующиеся проведением различных мероприятий... — проворчал он. — А разрешение у тебя на этот эксперимент имеется? Отвечай, техническая душа!

— Дык, зачем же разрешение, ежели никто ничего не видит? Пушай мертвый народ часок-другой погуляет... — мямлил изобретатель. — Колхозных проводов и электричества не жалко!

— Да ты, дружок, настоящий враг народа! — Старик схватил костыль и замахнулся. Никакого оправдательного документа у Платоши не было, и он растерянно развел руками. Сэкономил проволоку, снял на разорённом колхозном току проводку. И рубильник там же взял. Разрядные конденсаторы по тридцать киловольт смастерил из дубовых бочек, вкопал их по всем четырем углам кладбища. Напряжение изобретатель решил взять с трансформаторной будки, стоявшей неподалеку от кладбища. Суть опыта проста — шандарахнуть током в двухметровую земляную глубину! Человеческий разложившийся прах методом электрического притяжения зарядится положительным зарядом и заново прилипнет к отрицательно заряженным человеческим костям. Комочки земли под действием того же тока начнут отталкиваться друг от друга и расползаться в стороны, освобождая проход залежавшимся человеческим телам. Генератор частоты подвигнет почву на воссоздание мышц плоти. Могилы разверзнутся, и у покойников появится возможность вновь взглянуть на эту жизнь омерзительными понимающими глазами!.. В глазах самого Платоши, и без того красных, появились восторженные слезы.

Пал Иваныч с иронической усмешкой смотрел на изобретателя.

— Ты зачем сюда пришел, идиот? — с веселым гневом взревел ветеран. — Да еще со своей дурацкой проволокой и рубильником... И почему это придурков всегда тянет на кладбище? Твоя затея — глупая! Подобные идеи насчет оживления покойников, как полезных, так и вредных, я отверг еще полвека назад! — ругался ветеран всех событий. — Среди покойников лишь единицы достойны вечности. Остальные — гады и сволочи. Они всегда и всем мешали в период своего земного существования и только против факта собственной смерти не могли возразить даже теоретически.

— Только таким способом я сумею проверить действие моих конденсаторов! — стоял на своем Платоша.

— Никаких тебе конденсаторов! — Старик вертел в воздухе костылем. В его начальственных тусклых глазах возникали видения последствий испытания. — Дело на данном квадрате

земли исторически сделано. Поскопытились, товарищи мертвецы, позагнулись — против противного факта смерти не попрёшь!

— Так ведь им-то не хотелось никому умирать! — Изобретатель застенчиво и огорченно потряс в воздухе кулаками. Из кармана пиджака выпали в траву плоскогубцы с рукоятками, обмотанными синей изолентой. Платоша машинально нагнулся за ними, прислонился обеими руками к земле, словно бы потрогал ее. — С помощью электричества я хочу нащупать в глиняной темноте именно это ихнее нехотение к смерти. Ведь куда-то уходит энергия людей, которые в последнем горении сердца пытаются убежать от разинутой пасти всепожирающей земли? Моя задача сельского самостоятельного ученого разбудить, раззадорить эту антиумирательную силу, а дальше они сами как-нибудь начнут действовать.

— Ты сильно-то не хлопочи! — урезонивал монтера старый активист. — И антимонию мне тут не разводи! — Когда и меня, и тебя, братец, на данном участке закапывают, нас никто даже по пьянке добрым словом не вспомнит, ни партком, ни профком, которые остались в музее слов двадцатого века.

— Мне бы только взглянуть, что же на самом деле получится!.. — Электрик азартно потирал ладони. — Всего и делов-то: включить да выключить...

— Тоже мне, грамотей выискался, теорию в практику он мне тут претворяет! — Пал Иваныч не любил, когда перед ним кто-то незаметный на что-то осмеливался. Ветеран хмуро оглядывал джунгли кладбища, заново устраивая на голове свой мятый картуз, сохранивший, однако, остатки древней важности и непонятной угрозы. — Я таких мутных ученых-самозванцев в Гражданскую пачками расстреливал. Не люблю, признаться, техническую науку, которая для меня во все времена остается вещью абсолютно классово выжатой...

Пал Иваныч сердито затоптался в высокой траве, корешки которой пружинили под его подошвами, и оттого старик вихлялся в разные стороны, словно его снизу подталкивали пружинами.

— Вы как будто танцуете, Пал Иваныч! — сказал я машинально.

— Здесь, на кладбище? Нет, друг-товарищ, я за свою жизнь натанцевался-наплясался...

— А как же наука? — с недоумением смотрел на строгого начальника Платоша. — То есть любая полезная конструкция человеческого ума — нужна она или нет?

— Среди наук, товарищи, есть математика, которую я понимаю как международно солидарный магнетизм всемирности. Математика! Воздушная почти что вещь, красавица для думающих! Математика — нейтральная в политическом смысле величина. Она не имеет матерьяльного основания и, стало быть, вечная, наша! Я в свое время взялся под революционными благословляющими лучами изучать математику, однако она, собака, так и не пошла в мозги, мать её... Но я до сих пор уважаю этот предмет, полюбил ее, хотя она не ответила мне взаимностью, не пошла в мозги, гадина! Я так и этак присаживался с книгой, с тетрадкой, и по вечерам за нее брался, и с утра приноравливался, ежели в бой идти не надо было... Только она, математика, ни в какую не поддавалась мне, будто строптивая девка! Плясали у меня в голове цифирочки без всякой армейской дисциплины... А эти сволочи — логарифмы? Я от них чуть с ума не сошел, хоть стреляйся. Мечтал поймать изобретателя логарифмов, чтоб шкуру с него живьем спустить...

— Ну что, запускать прибор? — спросил изобретатель.

— Короче, так, Платон: разрешаю тебе выборочно оживить некоторых покойников. Я поговорю с некоторыми выдающимися людьми, растолкую им, в чем они ошибались, затем снова данных товарищей телесно разукомплектую... Хороших людей оставляю для вечного проживания, а классово чуждых расстреляю в порядке обратной сортировки. Тогда и взойдет общество светлых остаточных людей!

— Новые подлецы образуются незаконным порядком, — изобретатель огорченно покачал круглой головой. — Надо такую специальную антинегодяйскую машину изобретать...

— Так изобретай, чего же ты медлишь в течение своей короткой самоучной жизни?.. Давно уже без тебя изобрели такую машинку — револьвером называется. Только один недостаток имеется у этой штуковины — не умеет она

думать. Один глазок у нее имеется, да и тот незрячий... Но у меня к тебе другой вопрос возникает, товарищ колхозный ученый. Допустим, телесную плоть мертвецов ты псевдотехнически соберешь, но душа-то откуда в них обратно возьмется? Она-то, голубушка, чай далеко отлетела!

— Про душу ничего сказать не могу, — развел руками изобретатель. — Мне странно слышать, что вы, великий материалист, задаете мне такой странный вопрос... Я ведь больше по электрической части. Моя задача — поднять народ из тьмы почвы, из несправедливого земляного заточения... Пусть они походят, подышат свежим воздухом, авось далеко не убегут!.. А с душами ихними вы, Пал Иваныч, известный революционер прошлого и настоящего, сами разберетесь... Можно купить компьютеры да и вставить в каждую мертвую грудь на первый случай. Пусть этим ожившим людям тоже как-то электронно думается, мечтается! — Платоша вздохнул, почесал нержавеющей отверткой вспотевший затылок.

— Молодец! — одобрил старик. — Твоя позиция хоть и техническая, но вполне добросовестная!.. С мертвецами надо поступать социалистически любовно! Хотя, я думаю, на обычных людей никакая «разлобительная» машина не подействует. Если запретить зло, вроде того, как партия в годы перестройки запретила торговать водкой, то станет еще хуже... Погоди... — озабочился вдруг Пал Иваныч. — А ну как ты постороннего пешехода или проходящий по дороге транспорт своим током нечаянно шандарахнешь?

— Вряд ли кто сюда забредет! — ответил Платоша. — Дюже старое кладбище. Тут уже лет двадцать никого не хоронят. Деревни кругом повымерли, дома порожние. Не бойся, дедушка, ток подземно пройдет, живых существ он не затронет.

— Тогда ладно, включай! — Ветеран взмахнул разрешительным жестом ладони. — Заводи свою оживлятельную парашу. Мне тоже интересно взглянуть, как они разжмуриваться будут. Лежат спокойно, сволочи, думают, небось, что мы им тут, наверху, коммунизм давно уже сотворили! Осталось, дескать, только оживить всех покойников ради всемирного покоя и гармонии!.. Как бы не так! — Голос его с пророчес-

ких тонов сошел на злорадное взвизгиванье. — Хрен вам в зубы, а не всемирное счастье!

Старик нервно хихикал, потирал дрожащие ладони, но в серых провалившихся глазах его проблеснула вдумчивая мокрость. Он высморкался в духовитую, пригревшуюся на солнце крапиву, раздраженно сорвал с локтя болтавшуюся на нитке заплату. В прореху высунулся серый мосластый локоть.

Изобретатель велел нам со стариком спуститься на всякий случай в кладбищенский, заросший бурьяном ров:

— Ежели энто зачнётся, то могёт и тово...

Мы спустились в указанное место. Захрустела под ногами сухая прошлогодняя листва, невидимая среди зарослей иван-чая и молодого репейника.

Ковыляющим техническим шагом изобретатель подошел к дереву, взялся за пластмассовую рукоятку рубильника, приколоченного к стволу накренившегося тополя свежими гвоздями. Вздохнув, с лягом перемкнул медные позеленевшие контакты. И сразу во всей ближней местности сделалось тихо, замолкли птицы. Пышная листва на высоких тополях, квадратом окружавших старое кладбище, перестала пошумливать, встопорщилась, словно шерсть насторожившихся животных. Каждый листок вдруг распрямился, задрезжал, как жестяной. Кузнечики разом подпрыгнули из травы тысячами серебристых искр, лопнули, словно распаренные горошины, упали на землю с одновременным омертвелым шорохом. От наполнившегося воздух электрического поля кожа защекоталась мурашками, волосы на Платошиной голове встали дыбом, приподняв выгоревшую на солнце кепку.

Моя кожа щелкалась едва заметными искрами, по ней бегали щекотливые мурашки.

Пал Иваныч выругался, с невозмутимым видом наблюдая за происходящим. Его высокий картуз сам собой приподнялся, сделал половину оборота в магнетическом воздухе, затем словно бы подпрыгнул и вновь уселся на гладкую сверкающую лысину. Ветеран привычным движением ладони утвердил козырек в правильную генеральную позицию.

Земля под ногами ощутимо дрогнула. Высокая трава то вставала щеткой, то заплеталась и расплеталась затейливыми, в огневых вспыш-

ках, косицами. Изобретатель качался, как пьяный, цепляясь за ствол дерева.

Снова раздался подземный толчок. Полетели шары среднего размера технических молний. Волна горячего воздуха сбила изобретателя с ног, он торопливо полз на карачках в неизвестном направлении. Следующий подземный удар — мы с Пал Иванычем повалились в колкую жгучую растительность.

Вдалеке слышались крики, сливающиеся в невнятный гул. В общем настороженном хоре различались возмущенные выкрики. Почти все оттаявшие голоса были слезливые и гугнявые, почти нечеловеческие.

Почва бурлила, вскипала. Сладкий запах электронавозной гнили, терпкий земляной дым мешали как следует разглядеть происходящие события, подземные толчки не давали подняться в полный рост. Будка бывшей колхозной подстанции, находящаяся рядом с кладбищем, ревела от перегрузки. Казалось, могучие трансформаторы вот-вот спрыгнут с бетонного фундамента и, разбрызгивая вскипевшее масло радиаторов, убегут в прохладный лес.

Тополь, к которому был приколот рубильник, тоже покачивался. Клацали сами по себе медные контакты, рассыпая зеленые и фиолетовые искры, падавшие густыми снопами.

Захрустели ветки, в задичалых кустах показались голые, пахнущие свежей землей человеческие фигуры. Синие, в лохмотьях, люди вставали в полный рост. Мертвецы трехсотлетней вылежки, ровесники кладбища, представляли собой скелеты, обтянутые черной поблескивающей кожей. В глазах, засыпанных пылью, не было осмысленного выражения.

— Вот оно! — радостно и гордо воскликнул изобретатель, поднимаясь на ноги и делая первый шаг навстречу своим питомцам. — Случилось!..

Затем Платоша выругался — невразумительно и торжественно.

— Прекратить анархию! — опомнился Пал Иваныч. Но было поздно. С полдюжины мужиков в темных костюмах и белых рубашках торопливо, с хрустом, выламывались из зарослей — это уже свежие покойнички, некоторых даже я узнал. Вот бывшие передовики производства, механизаторы, пастух, счетовод...

— Кажись, много напряжения дал!.. — огорченно разводил руками Платоша. Он озирался по сторонам, загибал пальцы: вот Митька-самогонщик, а вот дедушка Игнат....

В руках у Митьки был кусок полусгнившей гробовой доски, которой он и треснул со всего размаха изобретателя. Платоша ойкнул, схватился за голову, упал на колени.

На Пал Иваныча набросился голый бородастый мужик с разлапистыми черными ручищами. Старик мужественно отбивался костылем: — Я тебя, подлеца, раскулачивал, а ты снова протестовать?..

На бугре остановилась, широко расставив ноги, синекочая, с бедрами в желтых глинистых потеках, молодая девка... Подплескивая обеими ладонями свои большие груди, она пристально смотрела на меня, улыбаясь прозрачными, как стекло, зубами. Я кинулся к рубильнику, дернул рукоятку вниз, разомкнул контакты. Снова пыхнули мощные искры, обдавая ладонь теплом и жгучей окалиной. Над кладбищем пронесся всеобщий стон огорчения. Не до конца ожившие мертвецы как по команде развернулись лицами к центру кладбища и побрели обратно — каждый к своей разворошенной яме. С их боков и бедер туманными клубками скатывалась дрожащая электрическая плоть, отвалившееся земляное мясо дымилось в траве, словно ошметки костра. Вонючий сладковатый дымок колечками завивался к небу, набухающему черными тучами.

С треском и уханьем падали в ямы, всплескивая руками, желтые скелеты. Наэлектризованные комочки глины катились вслед за ними в могилы, образуя постепенно свежие горячие холмики, дымящие то ли дымом, то ли прахом, похожим на взмученную золу. Надгробья, кресты, памятники валялись вразнобой, вперемишку с изломанными кустами, вырванными с корнем из земли. С деревьев пачками осыпалась листва. Где-то неподалеку пробовала голос испуганная птичка.

— Неужто это я всё натворил? — озирался Платоша, обхватив ладонями голову. Морщась от боли, почесывал ушибленную гробовой доской макушку, стряхивал с пиджака древесные трухлявые куски. Толстым слоем проминалась под ногами зеленая опавшая листва.

Пал Иваныч держал в кулаке седую прядь волос, сорванных с головы классового противника, брезгливо размахивал в воздухе полусгнившим скальпом.

— Данный эксперимент с классом покойников в дальнейшем запрещаю! — Старик с гневом швырнул трофейный скальп на дымящуюся землю, вытер ладони о гимнастерку, отхаркнулся пенной слюной недавно сдавленного морщинистого горла, перечеркнутого свежей красной полосой. — Этот чертов кулак едва меня не задушил. Нельзя оживлять негодяев ни плотски, ни тем более идейно. От мертвецов одно лишь мщение. Весь русский народ, в том числе и ты, дорогой мой друг электрик Платон, всегда томился тоской по умершим людям. Но человечество само по себе лечиться никогда не умеет, оно время от времени меняет общественно-политические маски, притворяясь то «либеральным», то «патриотическим», а в эпохи загибшья называет себя «гуманным» обществом. Никакого коммунизма этим гадам я не позволяю, пусть лежат на прежних местах!

— Дедушка... — Взволнованный событиями Платоша набрал в кубастую грудь воздуха. — А каким на самом деле вам коммунизм представлялся, когда вы только зачинали его делать?

— Да так... — вздохнул ветеран. — Что-то непонятно хорошее под сердцем зундело, перед глазами радостный туман проблескивал!

Присели на островок мятой травы, все еще хранящей следы босых ног покойников. Трава постепенно распрямлялась, шевелилась, как живая. Платоша протяжно вздохнул — он не понимал, как из тумана и зуда можно соорудить общественно-полезный предмет. Изобретатель пообещал, что на этой неделе он усовершенствует свой прибор. Надо мертвецам заранее, перед оживлением, с помощью электродара вставлять добрую душу. Чтобы не дрались понапрасну!

Электрик достал авоську, сшитую из колхозного дармового брезента, вынул порезанный кусочками твердый неделишний хлеб, разложил его на мятой газете, выложил порезанное кусочками сало, расплывшееся от жары до прозрачности. Мы все трое проголодались от хлопот и переутомления. Дополнительно Платоша вынул из сумки бутылку самогона, заткну-

тую специально вырезанной затычкой из дерева. Самогонка тоже была кстати — мы с Пал Иванычем от всяческих переживаний тоже почти протрезвели. Нашелся пучок лука. Выпили по одной-другой, немного успокоились. Пал Иваныч из-за отсутствия зубов принялся обсасывать кусочек сала округлыми сизыми деснами. Сало тоже было старым, с синими жилками омертвевших сосудов. Скрипнула хлебная корка, у ветерана от самогона развивался аппетит.

— Не нравится мне твое сало! — ворчал старик. — Расплылось от жары, торчат синие прожилки... Ты это сало тоже, небось, электричеством из покойников добываешь?

Изобретатель смущенно жевал, не зная, что сказать в оправдание. Наконец Платоша пришел к выводу: сегодня он слишком большую искру дал! Оттого они такие бешеные из могил повыскакивали. Любой человек, разбуди его невзначай, всегда на чумового похож.

— А ты им на следующий раз подчинительную искру сообрази! — тут же выдал указание ветеран, выплевывая непрожеванный кусок сизого сала. — Придай, товарищ, своей искре в высшей степени бюрократический оттенок!

— Какой оттенок? — Платоша икнул, поперхнувшись стеблем зеленого лука, поправил на голове выцветшую, в масляных пятнах кепку.

Старик презрительно махнул на него рукой: темнота деревенская! Даже из ворованного бывшеколхозного матерьяла не смог сотворить чуда оживления, о котором мечтали философы, в частности великий пролетарский товарищ Федоров!.. Прочь с моих глаз, нищета техническая!.. Морщины, в которых прятались нервные стариковские губы, прыгали серыми змейками. Сало доели, самогон допили и разошлись по домам. По дороге старик просил меня найти для него книги философа Федорова — не зря его учение так популярно в русском народе!



Мой дед часто забирался на крышу дома. Он подолгу ползал там и громыхал деревянным молотком. Дед был когда-то кровельщиком, и сидеть без привычной работы ему было скучно.

На крыше дед становился робким и медлительным. Сгорбленная его фигурка на высоте каких-то четырех метров выглядела маленькой и напуганной. Зато внизу, в доме и вокруг дома, дед был грозной и внушительной личностью. Он зорко следил за нашими с братом проделками и частенько брался за хворостину. Особенно сердился он, когда мы портили «дело»: ломали нечаянно ветку у яблони или тупили рубанок, выстругивая доски для скворечника.

— Ну вот, — гудел дед, — одно дело делают, а другое портят.

На крыше, виновато улыбаясь, дед привязывал себя веревкой к трубе.

— На всякий случай, — как бы оправдываясь, бормотал он, — береженого Бог бережет.

Мне тоже нравилось быть наверху. По краям крыши торчали заржавленные фигурки из жести — петух и конь. Дед сделал их, когда был молодым.

От дедовых ударов крыша гремела так, что было больно ушам, но это не мешало разглядывать всё вокруг. То, что было внизу, становилось маленьким, казалось незнакомым. Даже не верилось, что я всегда живу внизу и что я маленький — ниже сиреневого куста и выше собачьей будки.

На крыше я ощущал себя большим и сильным. «Земля вертится!» — сказал мне до этого брат, и я, упершись руками в трубу, искренне верил, что помогаю ей вращаться. Когда дед переставал стучать, я слышал, как ветер залетал в трубу, а потом, словно испугавшись тесной темноты, выскакивал наружу и обрадованно гудел. Ветер как-то по-особенному ухал, я прислушивался, но дед вновь принимался стучать.

— Дед, не громыхай, — просил я.

— А ты что здесь делаешь? — ругался дед. — А ну, марш отсюда! Не ровен час свалишься. Высотой, брат, не шутят!

Но я не уходил.

— Ладно, — примирительно говорил дед, — коли есть в тебе такая смелость, сходи-ка вниз, принеси кисет. На лавке его забыл. Я тебе за это ероплан сделаю.

Я проворно спускался по лестнице, думая тем временем, какой у меня будет «ероплан». Я верил, что любой взрослый может все, если захочет.

Приносил деду кисет. Он закуривал, потом из обрывка газеты делал бумажный самолетик. Самолетик летел, но не долго, перелетал улицу и падал в заросли крапивы. Я разочарованно вздыхал и уходил на другой конец крыши.

На горизонте в теплой голубоватой дымке виднелась старая церковь. Над ее покосившимся крестом кружились черные птицы, то появляясь, то исчезая в прорехах купола. «Ес-

ли взобраться на церковь, будет видно, наверно, всю землю», — думал я.

Осторожно подошел дед. Садился рядом, смотрел. От него пахло ржавчиной, а сам он словно излучал грохот — так звенело у меня в ушах при виде его тщедушной фигуры. Дед сидел и молча курил. Дул легкий ветерок, дым от дедовой сигарки лез в глаза.

— Скоро ты, внучок, в школу пойдешь.

Я пододвигался к деду, смотрел на солнце, которое опускалось за темный силуэт церкви. Дед в который раз заводил рассказ о том, как он едва не разбился, когда в пору молодости полез на церковь, чтобы поправить вот тот самый покосившийся крест.

— Если бы за медный лист рубахой не зацепился — конец мне. Я ведь тоже когда-то храбрым был и не признавал вот этой штуковины... — тербил дед веревку, привязанную к поясу, — а теперь вот на своей крыше, и боязно.

— А с церкви всю землю вокруг видел?

— Видел, как же... И землю, и как она перекувырнулась. И преисподняя, и рай мне уже мерещились. Всё за один момент передумал и пережил... И болезнь после этого получил специальную — по-ученому «фобия» называется. Боюсь высоты, сердце трепыхается...

Здесь, на крыше, было интересно еще раз послушать эту историю, глядя, как последний солнечный луч красным огоньком отражается в поблекшей позолоте купола.

— А ты бы не боялся, дедушка, — говорил я ему, — взмахнул бы руками, представил, что ты птица, и полетел. Летел бы долго, поглядел все вокруг и совсем не разбился бы!

Я смотрел на дедово лицо, думал, будет смеяться, но он молчал, разглядывая красную полосу заката.

— Пойдем-ка, внучок, спать, — говорил дед и боязливо полз по коньку крыши к лестнице.

Я летал во сне. Это были черно-желтые видения, уносившие меня ввысь. Со сказочной простотой я отгалкивался от земли и поднимался в небо. Я летел над деревней, над маленькой рощей, где пасут скот, над широкими оврагами...

— Мама! — просыпался я в утренней полумгле. — Я летал!

— Это ты растешь, — подходила мать и гладила по голове, — спи, еще рано.

Хотелось полететь наяву. Шлепая босиком

по пыльной дороге, я выходил за деревню, смотрел в небо. Высоко над полем кружил кобчик, высматривая добычу. Он то скользил над колосьями, то взмывал в самую высь, превращаясь в неподвижную точку.

Мой старший брат придумал чудесную игру. Во время сенокоса в лугах громоздили высокие стога. Забравшись на самый большой и оттолкнувшись от вязкого сена, мы ласточками летели вниз, где у подножия лежала охапка, смягчавшая удар. Как сейчас вижу тихий летний закат. Я вылезаю из сена, отряхиваюсь от сухих пахучих стеблей, опутавших голову. А сверху летит мой брат. Оранжевый свет солнца плотно облепил его фигурку, белая рубашка трепещет на ветру. И вот он падает, скрываясь в сене.

Но однажды брат не прыгнул со стога, и я понял почему. Рядом со мной, зловеще поблескивая, лежали забытые кем-то вилы. Я отшвырнул их и крикнул брату, чтобы он прыгал. Но тот не осмелился. С тех пор он больше не участвовал в подобных забавах. Став взрослее, он увлекся радиотехникой и уехал учиться в техникум.

Зимой в деревне было скучнее, но я читал книги о полётах. Из них я узнал, что взлететь с помощью рук невозможно. Я читал и потихоньку мастерил себе крылья. Они были похожи на крылья моих предшественников-неудачников, но, как и они, я верил своим крыльям и жаждал испытать их.

И вот с теплыми ветрами в наши края пришла весна. В один из ее дней, почувствовав прочность ветра, я решился. Прижимая к груди крылья, завернутые в мешковину, я помчался к старой церкви. По пыльным деревянным ступеням взобрался на колокольню, а оттуда по вбитым в стену железным штырям — внутрь купола. Здесь было сыро от нарастающего снега. В многочисленные дыры шарахнулись стаи голубей. В самую большую дыру выбрался я. Меня сразу же едва не сдуло ветром. Цепляясь за решетчатый каркас купола, я добрался до покосившегося креста. Крест когда-то держался на трех больших болтах, но теперь остался один. На нем были заметны заусеницы — это мой дед давным-давно пытался срубить его зубилом и едва не погиб. После него никто из местных жителей не решился чинить крест — ждали специалистов.

Мне вдруг стало страшно. В темных дырах шипели злобные голоса, они пугали и предуп-

реждали. Но в черных прорехах купола мне виделась улыбка моего молодого бесстрашно-го деда, и я успокоился.

А внизу лежала деревня. Тяжелые весенние облака плыли рядом со мной, и на земле я видел их отстающие громадные тени. Они ползли по серым подтаявшим снегам к небольшому городку, куда я должен был пойти на следующий год в пятый класс.

С трудом привязав к рукам крылья, я встал во весь рост. Ветер ринулся в них, с силой прижал к кресту. Крест не выдержал, ржаво хрустнул, отломился и полетел вниз. Меня подхватил поток ветра.

Крылья не вынесли меня, не поддержали. Сшитые из старых портфелей, голенищ от сапог, кусков дерматина, они лишь не дали мне разбиться насмерть. Верхушки древних тополей стегали по лицу, вышибая слезы. Я кричал, но не от страха и боли. Я не боялся умереть, потому что был в полете. Я ощущал, как силен и необъятен воздух, как он яростно бьет в грудь, пытаюсь выломать руки, которыми я изо всех сил удерживал смешные крылья моего детства. Мне повезло — я не разбился, но сильно поцарапался о ветки дерева...

Время тоже летело на крыльях. Через шесть лет я вернулся в свою деревню с новеньким аттестатом в кармане. В то выпускное утро рассвет набирал силу, вокруг была тишина. И я сделал еще одну попытку взлететь. Еще до этого я тайком

пристроил к своему мотоциклу длинные фанерные крылья.

Оглядевшись, я вывел мотоцикл на гладкое асфальтированное шоссе, проложенное рядом с селом. Кругом не было ни души. Мотор завелся, я прыгнул на сиденье, дал полный газ. Мотоцикл мотало из стороны в сторону, я с трудом держал равновесие.

— Давай, давай! — подгонял я мотоцикл. — Скорость, скорость!

Но внезапно крыло моего летательного аппарата задело асфальт. Этого было достаточно, чтобы мотоцикл завертелся на месте. Я услышал, как хрустнули крылья, а в следующий миг вылетел из седла. Ударившись животом о землю, я потерял сознание.

Я не разбился насмерть — меня спасла мягкая обочина. Проезжающие шоферы смеялись, показывая пальцами на мотоцикл с обломанными крыльями, а я, прихрамывая, тащил его домой.

Прошли годы... Я не стал летчиком, а стал сельским журналистом, но до сих пор завидую тем, кто летает в небе. До сих пор во мне живет страх высоты.

Церковь, с которой я пытался полететь на крыльях, отреставрировали, она теперь как новая, сияет золотым куполом на всю округу.

Страх высоты был не напрасен. Он дал мне ощущение своего второго «я». Ведь я не только боялся высоты, но и любил ее. И эта любовь до сих пор сильнее страха.

□

Александр ТИТОВ

родился в 1950 г. в селе Красное Липецкой области, окончил Московский полиграфический институт, Высшие литературные курсы.

Автор семи сборников прозы.

Публиковался в журналах «Подъем», «Волга», «Север», «Литературная учеба», «Новый мир» и др.

Дипломант литературного конкурса им. Н. Островского (1980),

Пятого Волошинского конкурса (2007),

финалист национальной литературной премии для детей и юношества «Заветная мечта-2008» за повесть «Ангелок»,

по мотивам которой снят полнометражный фильм «Ангел», Москва, киностудия «Ракурс» (2011),

лауреат областной литературной премии имени Е. Замятина (2010),

а также областной литературной премии имени И. Бунина (2011)

и премии областного липецкого журнала «Петровский мост» (2012).

